

*Азбука*  
**PREMIUM**  
РУССКАЯ ПРОЗА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

# Дар



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44  
Н 14

Vladimir Nabokov  
THE GIFT  
Copyright © 1963, Dmitri Nabokov  
All rights reserved

Предисловие автора к американскому изданию  
публикуется в переводе Геннадия Барабтарло

Издательство благодарит Мемориальный музей  
Владимира Набокова (Санкт-Петербург)  
за ценную помощь в подготовке настоящего издания.

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

- © Г. Барабтарло, перевод предисловия,  
2016
- © Оформление.  
ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус“», 2016  
Издательство АЗБУКА®
- © Серийное оформление.  
ООО «Издательская  
Группа „Азбука-Аттикус“», 2016  
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-12116-4

*Памяти моей матери*

Роман, предлагаемый вниманию читателя,  
писался в начале тридцатых годов и печатался  
(за выпуском одного эпитета и всей главы IV)  
в журнале «Современные записки»,  
издававшемся в то время в Париже.

Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна.

*П. Смирновский*  
*Учебник русской грамматики*

## Глава первая

Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностраный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией. На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчицкой фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение. Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы. Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное пальто, слегка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с сединой в бороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурок. Женщина, коренастая и немолодая, с кривыми ногами и довольно красивым лжекитайским лицом, одета была в каракулевый жакет; ветер, обогнув ее, пахнул неплохими, но затхловатыми духами. Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались об-

весить, наблюдали за тем, как трое красновы́йных молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку.

«Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку», — подумалось мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем, излишнюю, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал. Сам только что переселившись, он в первый раз теперь, в еще непривычном чине здешнего обитателя, выбежал налегке, кое-чего купить. Улицу он знал, как знал весь округ: пансион, откуда он съехал, находился невдалеке; но до сих пор эта улица вращалась и скользила, ничем с ним не связанная, а сегодня остановилась вдруг, уже застывая в виде проекции его нового жилища.

Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя, расположенными на их частых черных сучках по схеме будущих листьев (завтра в каждой капле будет по зеленому зрачку), снабженная смоляной гладью саженей в пять шириной и пестроватыми, ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман. Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств, но, кажется, ничего такого не намечалось, а рассеянный свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться; все могло быть этой мелочью: цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой; деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство кариатиды, приживалки — а не подпоры, — которую и меньшее бремя обратило бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявления — о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и



оставшийся — самой за себя заскочившею тайной. Нет, ничего такого не было (еще не было), но хорошо бы, подумал он, как-нибудь на досуге изучить порядок чередования трех-четырех сортов лавок и проверить правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, так что, найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для улиц данного города, — скажем: табачная, аптекарская, зеленая. На Танненбергской эти три были разобщены, находясь на разных углах, но, может быть, роение ритма тут еще не настало и в будущем, повинуясь контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда владельцев) начнут сходитьсь: зеленая с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через семь, а там через три, от аптекарской, — вроде того, как в рекламной фильме находят свои места смешанные буквы, — причем одна из них напоследок как-то еще переворачивается, поспешно встав на ноги (комический персонаж, неременный Яшка Мешок в строю новобранцев); так и они будут выжидать, когда освободится смежное место, а потом обе наискосок мигнут табачной — сигай сюда, мол; и вот уже все встали в ряд, образуя типическую строку. Боже мой, как я ненавижу все это: лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру, — странно засасывающее добрых: так, Александра Яковлевна признавалась мне, что когда идет за покупками в знакомые лавки, то нравственно переносится в особый мир, где хмелеет от вина честности, от сладости взаимных услуг, и отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга.

Род магазина, в который он вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книжкой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не оказись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми

пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне.

Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел — с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, — как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользкий фасад.

Он пошел дальше, направляясь к лавке, но только что виденное, — потому ли, что доставило удовольствие родственного качества, или потому, что встряхнуло, взяв врасплох (как с балки на сеновале падают дети в податливый мрак), — освободило в нем то приятное, что уже несколько дней держалось на темном дне каждой его мысли, овладевая им при малейшем толчке: вышел мой сборник; и когда он, как сейчас, ни с того ни с сего падал так, то есть вспоминал эту полусотню только что вышедших стихотворений, он в один миг мысленно пробежал всю книгу, так что в мгновенном тумане ее безумно ускоренной музыки не различить было читательского смысла мелькавших стихов, — знакомые слова проносились, крутятся в стремительной пене (кипение сменявшей на мощный бег, если привязаться к ней взглядом, как дельвали мы когда-то, смотря на нее с дрожавшего моста водяной мельницы, пока мост не обращался в корабельную корму: прощай!), — и эта пена, и мелькание, и отдельно пробегавшая строка, дико блаженно кричавшая издали, звавшая, вероятно, домой, — все это вместе со сливочной белизной обложки сливалось в ощущение счастья исключительной чистоты... «Что я, собственно, делаю!» — спохватился он, ибо сдачу, полученную только что в табачной, первым делом теперь высыпал на резиновый островок посреди стеклянного прилавка, сквозь который снизу просвечивало подводное золото плоских флаконов, между тем как снисхо-

дительный к его причуде взгляд приказчицы с любопытством направлялся на эту рассеянную руку, платившую за предмет, еще даже не названный.

«Дайте мне, пожалуйста, миндального мыла», — сказал он с достоинством.

Затем, все тем же взлетающим шагом, он воротился к дому. Там, на панели, не было сейчас никого, ежели не считать трех васильковых стульев, сдвинутых, казалось, детьми. Внутри же фургона лежало небольшое коричневое пианино, так связанное, чтобы оно не могло встать со спины, и поднявшее вверх две маленьких металлических подошвы. На лестнице он встретил валивших вниз, коленями врозь, грузчиков, а пока звонил у двери новой квартиры, слышал, как наверху переговариваются голоса, стучит молоток. Впустив его, квартирохозяйка сказала, что положила ключи к нему в комнату. У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy.

А вот продолговатая комната, где стоит терпеливый чемодан... и тут разом все переменялось: не дай бог кому-либо знать эту ужасную унижительную скуку, — очередной отказ принять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке!

Некоторое время он стоял у окна: небо было простоквашей; изредка в том месте, где плыло слепое солнце, появлялись опаловые ямы, и тогда внизу, на серой кругловатой крыше фургона, страшно скоро стремились к бытию, но, недовоплотившись, растворялись тонкие тени липовых ветвей. Дом насупротив был наполовину в лесах, а по здоровой части кирпичного фасада оброс плющом, лезшим в окна. В глубине прохода, разделявшего палисадник, чернелась вывеска подвальной угольни.

Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно



претворить в степную даль. Пустыню письменного стола придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки. И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий.

Хозяйка пришла звать его к телефону, и он, вежливо сутулясь, последовал за ней в столовую. «Во-первых, — сказал Александр Яковлевич, — почему это, милостивый государь, у вас в пансионе так неохотно сообщают ваш новый номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу вас поздравить... Как — вы еще не знаете? Честное слово?» («Он еще ничего не знает», — обратился Александр Яковлевич другой стороной голоса к кому-то вне телефона.) «Ну, в таком случае возьмите себя в руки и слушайте, я буду читать: „Только что вышедшая книга стихов до сих пор неизвестного автора, Федора Годунова-Чердынцева, кажется нам явлением столь ярким, поэтический талант автора столь несомненен...“ Знаете что, оборвем на этом, а вы приходите вечером к нам, тогда получите всю статью. Нет, Федор Константинович, дорогой, сейчас ничего не скажу, ни где, ни что, — а если хотите знать, что я сам думаю, то не обижайтесь, но он вас перехваливает. Значит, придете? Отлично. Будем ждать».

Вешая трубку, он едва не сбил со столика стальной жгут с карандашом на привязи; хотел его удержать, но тут-то и смахнул; потом въехал бедром в угол буфета; потом выронил папиросу, которую на ходу тащил из пачки; и наконец, зазвенел дверью, не рассчитав размаха, так что проходившая по коридору с блюдцем молока фрау Стобой холодно произнесла: «упс!». Ему захотелось сказать ей, что ее палевое в сизых тюльпанах платье прекрасно, что пробор в гофрированных волосах и дрожащие мешки щек сообщают ей нечто жорж-сандово-царственное; что ее столовая — верх совершенства; но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на тигровые полосы, не поспевшие за отскочившим котом, но в конце концов он никогда и не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар.

Перед нами небольшая книжка, озаглавленная «Стихи» (простая фразная ливрея, ставшая за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны — от «лунных грез» до символической латыни), содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме — детству. При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. Одновременно ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игрища. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы — вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта. Так, запершись на ключ и достав свою книгу, он упал с ней на диван, — надо было перечитать ее тотчас, пока не остыло волнение, дабы заодно проверить доброкачественность этих стихов и предугадать все подробности высокой оценки, им данной умным, милым, еще неизвестным судьей. И теперь, пробуя и апробируя их, он совершал работу, как раз обратную давешней, когда мгновенной мыслью пробегал книгу. Теперь он читал как бы в кубе, выхаживая каждый стих, приподнятый и со всех четырех сторон обвеваемый чудным, рыхлым деревенским воздухом, после которого так устаешь к ночи. Другими словами, он, читая, вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них данных стихов, и все, все восстанавливал, как возвратившийся путешественник видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и всё, всё. Сборник открывался стихотворением «Пропавший Мяч», — и начинал накрапывать дождик. Тяжелый облачный вечер, один из тех, которые так к лицу нашим северным елям, стусился

вокруг дома. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой. Вот створы белых ставней отделили комнату от внешней темноты, куда уже было переправились, пробно расположившись на разных высотах в беспомощно черном саду, наиболее светлые части комнатных предметов. Теперь недолго до сна. Игры становятся вялыми и не совсем добрыми. Она стара и мучительно кряхтит, когда в три медленных приема опускается на колени.

Мяч закатился мой под нянин  
 комод, и на полу свеча  
 тень за концы берет и тянет  
 туда, сюда, — но нет мяча.  
 Потом там кочерга кривая  
 гуляет и грохочет зря —  
 и пуговицу выбивает,  
 а погода полсухаря.  
 Но вот выскакивает сам он  
 в трепещущую темноту, —  
 через всю комнату, и прямо  
 под неприступную тахту.

Почему мне не очень по нутру эпитет «трепещущую»? Или тут колоссальная рука пуппенмейстера вдруг появилась на миг среди существ, в рост которых успел уверовать глаз (так что первое ощущение зрителя по окончании спектакля: как я ужасно вырос)? А ведь комната действительно трепетала, и это мигание, карусельное передвижение теней по стене, когда уносится огонь, или чудовищно движущий горбами теневой верблюд на потолке, когда няня борется с увалистой и валкой камышовой ширмой (растяжимость которой обратно пропорциональна ее устойчивости), — все это самые ранние, самые близкие к подлиннику из всех воспоминаний. Я часто склоняюсь пытливым мыслям к этому подлиннику, а именно — в обратное ничто; так, туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначального небытия, — становящимся приближением к нему, когда я напрягаю память до последней крайности, чтобы вку-



сить этой тьмы и воспользоваться ее уроками ко вступлению во тьму будущую; но, ставя жизнь свою вверх ногами, так что рождение мое делается смертью, я не вижу на краю этого обратного умирания ничего такого, что соответствовало бы беспредельному ужасу, который, говорят, испытывает даже столетний старик перед положительной кончиной, — ничего, кроме разве упомянутых теней, которые, поднявшись откуда-то снизу, когда снимается, чтобы уйти, свеча (причем, как черная, растущая на ходу голова, проносится тень левого шара с постельного изножья), всегда занимают одни и те же места над моей детской кроватью

и по углам наглеют ночью,  
своим законным образцам  
лишь подражая между прочим.

В целом ряде подкупающих искренностью... нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. В целом ряде отличных... или даже больше: замечательных стихотворений автор воспекает не только эти пугающие тени, но и светлые моменты. Вздор, говорю я, вздор! Он иначе пишет, мой безымянный, мой безвестный ценитель, — и только для него я переложил в стихи память о двух дорогах, старинных, кажется, игрушках: первая представляла собой толстый расписной горшок с искусственным растением теплых стран, на котором сидело удивительно вспорхливое на вид чучело тропической птички, оперения черного, с аметистовой грудкой, и когда большой ключ, выпрошенный у Ивонны Ивановны и заправленный в стенку горшка, несколько раз туго и животворно поворачивался, маленький малайский соловей раскрывал... нет, он даже и клюва не раскрывал, ибо случилось что-то странное с заводом, с какой-то пружиной, действовавшей, однако же, впрок: птица отказывалась петь, но если забыть про нее и через неделю случайно пройти мимо ее высокого шкапа, то от таинственного сотрясения вдруг рождалось ее волшебное щелканье, — и как дивно, как длительно заливалась она, выпятив растрепанную грудку; кончит, ступишь, уходя, на другую

половицу, и напоследок, отдельно, она еще раз свистнет и на полуноcte замрет. Схожим образом, но с шутовской тенью подражания — как пародия всегда сопутствует истинной поэзии, — вела себя вторая из воспетых игрушек, находившаяся в другой комнате, тоже на высокой полке. Это был клоун в атласных шароварах, опиравшийся руками на два беленых бруска и вдруг от нечаянного толчка приходивший в движение

при музыке миниатюрной  
с произношением смешным,

позванивавшей где-то под его подмостками, пока он поднимал едва заметными толчками выше и выше ноги в белых чулках, с помпонами на туфлях, — и внезапно все обрывалось, он угловато застывал. Не так ли мои стихи... Но правда сопоставлений и выводов иногда сохраняется лучше по сю сторону слов.

Постепенно из накаплиющихся пьесок складывается образ крайне восприимчивого мальчика, жившего в обстановке крайне благоприятной. Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении Годуновых-Чердынцевых Лешино. Мальчик еще до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года, увлекались детским театром и даже сами сочиняли для своих представлений... Любезный мой, это ложь. Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиновокисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой, не без нашего участия, в конце концов и сторело все здание. О, мы с Таней были привередливы, когда дело касалось игрушек! Со стороны, от дарителей равнодушных, к нам часто поступали совершенно убогие вещи. Все, что являло собой плоскую картонку с рисунком на крышке, предвещало недоброе. Такой одной крышке я посвятил было условленных три строфы, но стихотворе-



ние как-то не встало. За круглым столом при свете лампы семейка: мальчик в невозможной, с красным галстуком, матроске, девочка в красных зашнурованных сапожках; оба с выражением чувственного упоения нанизывают на соломинки разноцветные бусы, делая из них корзиночки, клетки, коробки; и с увлечением неменьшим в этом же занятии участвуют их полоумные родители — отец с премированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом; собака тоже смотрит на стол, а на заднем плане видна в креслах завистливая бабушка. Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке, плотноядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным («ешьте больше мяса!»), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот; и со временем они обратятся в бодрых, румяных, обжорливых стариков, — а там и черная inferнальная красота дубовых гробов среди пальм в витрине... Так развивается бок о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов; но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на затылке у подобия совершенства: лакированным лакомкам реклам, объедающимся желатином, не зная тихих отряд гастронома, а моды их (медлящие на стене, пока мы проходим мимо) всегда чуть-чуть отстают от действительных. Я еще когда-нибудь поговорю об этом возмездии, которое как раз там находит слабое место для удара, где, казалось, весь смысл и сила поражаемого существа.

Вообще смирным играм мы с Таней предпочитали потные — беготню, прятки, сражения. Как удивительно такие слова, как «сражение» и «ружейный», передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки (лишенной, для пущей язвительности, гуттаперчевой присоски), которая затем, с треском попадая в золотую жезл кирасы (сле-

дует представить себе помесь кирасира и краснокожего), производила почетную выбоинку.

И снова заряжаешь ствол  
до дна, со скрежетом пружинным  
в упругий вдавливая пол,  
и видишь, притаясь за дверью,  
как в зеркале стоит другой —  
и дыбом радужные перья  
из-за повязки головной.

Автору приходилось прятаться (речь теперь будет идти об особняке Годуновых-Чердынцевых на Английской набережной, существующем и поныне) в портьерах, под столами, за спинными подушками шелковых оттоманок — и в платяном шкапу, где под ногами хрустел нафталин и откуда можно было в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой, становившимся до странности новым, одушевленным, вздыхающим, чайным, яблочным; а также

под лестницею винтовой  
и за буфетом одиноким,  
забытым в комнате пустой, —

на пыльных полках которого прозябали: ожерелье из волчьих зубов, алматолитовый божок с голым пузом, другой фарфоровый, высывающий в знак национального приветствия черный язык, шахматы с верблюдами вместо слонов, членистый деревянный дракон, сойотская табакерка из молочного стекла, другая агатовая, шаманский бубен, к нему заячья лапка, сапог из кожи маралых ног со стелькой из коры лазурной жимолости, тибетская мечевидная денежка, чашечка из кэрийского нефрита, серебряная брошка с бирюзой, лампада ламы, — и еще много тому подобного хлама, который — как пыль, как с немецких вод перламутровый Gruss<sup>1</sup> — мой отец, не терпя этнографии, случайно привозил из своих баснословных путешествий. Зато запертые на ключ три залы, где находились его коллекции, его музей... но об этом в стихах перед нами нет ничего: особым чутьем моло-

<sup>1</sup> Привет (нем.).

дой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить совсем иначе, не стихами с брелоками и репетицией, а совсем, совсем другими, мужественными словами о своем знаменитом отце.

Опять что-то испортилось, и доносится фамиллярно-фальшивый голосок рецензента (может быть, даже женского пола). Поэт с мягкой любовью вспоминает комнаты родного дома, где оно протекало. Он сумел влить много лирики в поэтическую опись вещей, среди которых протекало оно. Когда прислушиваешься... Мы все, чутко и бережно... Мелодия прошлого... Так, например, он отображает абажуры ламп, литографии на стенах, свою парту, посещение полотеров (оставляющих после себя составной дух из «мороза, пота и мастики») и проверку часов:

По четвергам старик приходит,  
 учтивый, от часовщика,  
 и в доме все часы заводит  
 неторопливая рука.  
 Он на свои украдкой взглянет  
 и переставит у стенных.  
 На стуле, стоя, ждать он станет,  
 чтоб вышел полностью из них  
 весь полдень. И, благополучно  
 окончив свой приятный труд,  
 на место ставит стул беззвучно,  
 и, чуть ворча, часы идут.

Щелкая языком иногда и странно переводя дух перед боем. Их тканье, как поперечно-полосатая лента сантиметра, без конца мерило мои бессонницы. Мне было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара или покончить с собой собственными средствами (проглотив язык, что ли). В начале мученической ночи я еще пробавлялся тем, что переговаривался с Таней, кровать которой стояла в соседней комнате; дверь мы приоткрывали, несмотря на запрет, и потом, когда гувернантка приходила в свою спальню, смежную с Таниной, один из нас дверь легонько затворял: мгновенный пробег босиком и скок в постель. Из комнаты в комнату мы долго задавали друг другу шарады, замолкая (до сих



пор слышу тон этого двойного молчания в темноте): она — для разгадки моей, я — для придумывания новой. Мои были всегда попричудливее да поглупее, Таня же придерживалась классических образцов:

mon premier est un métal précieux,  
mon second est un habitant des cieux,  
et mon tout est un fruit délicieux<sup>1</sup>.

Иногда она засыпала, пока я доверчиво ждал, думая, что она бьется над моей загадкой, и ни мольбами, ни бранью мне уже не удавалось ее воскресить. С час после этого я путешествовал в потемках постели, накидывая на себя простыню и одеяло сводом, так чтобы получилась пещера, в далеком, далеком выходе которой пробивался сторонкой синеватый свет, ничего общего не имевший с комнатой, с невской ночью, с пышными, полупрозрачными опадениями темных штор. Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и провалах такую томную действительность, наполнилась такой душной и таинственной мерой, что у меня как глухой барабан начинало стучать в груди, в ушах; и там, в глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши, я различал скулы идола, высеченного в скале, а когда наконец забывался, то меня десяток рук опрокидывали, и кто-то с ужасным шелковым треском распарывал меня сверху донизу, после чего проворная ладонь проникала в меня и сильно сжимала сердце. А не то я бывал обращен в кричащую монгольским голосом лошадь: камы посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои, с хрустом ломаясь, ложились под прямым углом к туловищу, грудью прижатому к желтой земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном; он опадал, я просыпался.

Пожалуйста вставать. Гуляет  
по зеркалам печным ладонь  
истопника: определяет,  
дорос ли до верху огонь.

<sup>1</sup> Мой первый [слог] — драгоценный металл, мой второй [слог] — обитатель небес, а целое — восхитительный фрукт (*фр.*).

Дорос. И жаркому гуденью  
 день отвечает тишиной,  
 лазурью с розовою тенью  
 и совершенной белизной.

Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозрительно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад, — странное, странное происходит с памятью. Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух заграничности, как своя перестала быть географической привычкой. Год Семь. Бродячим призраком государства было сразу принято это летоисчисление, сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь новорожденной свободы. Но счет растет, и честь не тешит; воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток. Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп, лупоглазо и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу и таким бесовским подобием пространства обмывающий гуляющих с карлсбадскими кружками лиц, что пуще рассказов о камлании меня мучили сны после этого оптического развлечения: аппарат стоял в приемной дантиста, американца Lawson, сожительница которого Mme Discamp, седая гарпия, за своим письменным столом среди флаконов кроваво-красного Лоусоновского эликсира, поджимая губы и скребя в волосах, суетливо прикидывала, куда бы вписать нас с Таней, и наконец, с усилием и скрипом, пропикивала плюющееся перо промеж la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в начале. Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что *that one will have to come out...*<sup>1</sup>

Как буду в этой же карете  
 чрез полчаса опять сидеть?  
 Как буду на снежинки эти  
 и ветви черные глядеть?  
 Как тумбу эту в шапке ватной  
 глазами провожу опять?

<sup>1</sup> Вот тот [зуб] придется удалить... (англ.)

Как буду на пути обратном  
мой путь туда припоминать?  
(Нащупывая поминутно  
с брезгливой нежностью платок,  
в который бережно закутан  
как будто костяной брелок.)

«Ватная шапка» — будучи к тому же и двусмыслицей, совсем не выражает того, что требовалось: имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенные цепью где-то поблизости памятника Петра. Где-то! Боже мой, я уже с трудом собираю части прошлого, у же забываю соотношение и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание. Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что

так впечатление бывшее  
во льду гармонии живет...

Что же понуждает меня слагать стихи о детстве, если все равно пишу зря, промахиваясь словесно или же убивая и барса и лань разрывной пулей «верного» эпитета? Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, — значит, стоило выходить на охоту. Вот еще двенадцатистишие о том, что мучило мальчика, — о терниях городской зимы; как например: когда чулки шерстят в поджилках, или когда на руку, положенную на плаху прилавка, приказчица натягивает тебе невозможно плоскую перчатку. Упомянем далее: двойной (первый раз соскочило) щипок крючка, когда тебе, расставившему руки, застегивают меховой воротник; зато какая занимательная перемена акустики, емкость звука, когда воротник поднят; и если мы уже коснулись ушей: как незабвенна музыка шелковой тугости при завязывании (подними подбородок) ленточек шапочных наушников.

Весело ребятам бегать на морозце. У входа в оснеженный (ударение на втором слоге) сад — явление: продавец воздушных шаров. Над ним, втрое больше него, — огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка Божьего. Красота! Я хочу, дяденька, самый большой (белый, с пе-



тухом на боку, с красным детенышем, плавающим внутри, который, по убиении матки, уйдет к потолку, а через день спустится, сморщенный и совсем ручной). Вот счастливые ребята купили шар за целковый, и добрый торговец вытянул его из теснящейся стаи. Погоди, пострел, не хватай, дай отрезать. После чего он снова надел рукавицы, проверил, ладно ли стянут веревкой с ножницами, и, оттолкнувшись пяткой, тихо начал подниматься стояком в голубое небо, все выше и выше, вот уж гроздь его не более виноградной, а под ним — дымы, позолота, иней Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам художников наших.

Но без шуток: было очень красиво, очень тихо. Деревья в саду изображали собственные призраки, и получалось это бесконечно талантливо. Мы с Таней издевались над салазками сверстников, особенно если были они крытые ковровой материей с висячей бахромой, высоким сиденьем (снабженным даже грядкой) и вожжиками, за которые седок держался, тормозя валенками. Такие никогда не дотягивали до конечного сугроба, а, почти сразу выйдя из прямого бега, беспомощно крутились вокруг своей оси, продолжая спускаться, с бледным серьезным ребенком, принужденным по замирании их, толчками собственных ступней, сидя, подвигаться вперед, чтобы достигнуть конца ледяной дорожки. У меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная бархатная подушка на чугунных полозьях скобками. Их не надо было тащить за собой, они шли с такой нетерпеливой легкостью по зря усыпанному песком снегу, что ударялись сзади в ноги. Вот горка.

Влезть на помост, облитый блеском... —

(взнашивая ведра, чтобы скат обливаться, воду расплескивали, так что ступени обросли корою блестящего льда, но все это не успела объяснить благонамеренная аллитерация).

Влезть на помост, облитый блеском,  
упасть с размаху животом  
на санки плоские — и с треском  
по голубому... А потом, —

## Содержание

<i>ДАР. Роман</i> .....	9
Предисловие автора к американскому изданию	
<i>Перевел с английского Геннадий Барабтарло</i> .....	379



**Набоков В.**

Н 14 Дар : роман / Владимир Набоков. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 384 с. — (Азбука Premium. Русская проза).

ISBN 978-5-389-12116-4

«Дар» (1937–1938) — последний русский роман Владимира Набокова, который может быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его творчества и одним из шедевров русской литературы XX века. Повествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской словесности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого посредством воспоминаний, любви и искусства.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ДАР

Ответственный редактор Сергей Антонов  
Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Ирины Варламовой  
Корректор Елена Шнитникова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 27.09.2016. Формат издания 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 20,16. Заказ №

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: [sales@atticus-group.ru](mailto:sales@atticus-group.ru); [info@azbooka-m.ru](mailto:info@azbooka-m.ru)

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: [trade@azbooka.spb.ru](mailto:trade@azbooka.spb.ru)

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: [sale@machaon.kiev.ua](mailto:sale@machaon.kiev.ua)

Информация о новинках и планах

на сайтах: [www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru), [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: [www.azbooka.ru/new\\_authors](http://www.azbooka.ru/new_authors)



AAUP2014801R